

ВСЯ В НАСТОЯЩЕМ РАЗЛИТА...

Категория времени и проблема цикла

3. 1. "...Я не воображал, какие разрушения может произвести в бедном человеческом механизме двадцатилетний срок! Какое отвратительное колдовство! Люди, воспоминания о которых здешние места оживили во мне до такой остроты, что мне стало казаться, будто я только накануне расстался с ними, предстали предо мною почти неузнаваемыми от разрушений времени..."—так писал поэт Эрнестине Федоровне Тютчевой в середине 1840-х годов. Тема былого и естественно из неё вырастающая проблема "связи времен"—одна из важнейших в тютчевской лирике, и без ее постижения останется не вполне осознан весь драматизм судьбы и творчества поэта. Мы не ставим перед собой задачи анализировать историсофские воззрения Тютчева, с редкой для русской поэзии XIX столетия полнотой воплощенные в политических стихах, в так называемых стихотворениях "на случай". Эта часть наследия поэта, непосредственно зависевшая от его политических взглядов и статуса дипломата, требует отдельного разговора в силу своей специфики. Нас же интересует этико-философская сущность понимания поэтом вечной проблемы связи времен.

В XIX веке было немало сделано для того, чтобы приобщить Тютчева к звездам пушкинской плеяды поэтов, ввести его в зону прямого пушкинского влияния. "Тютчев принадлежал, бесспорно, к так называемой пушкинской плеяде поэтов", —писал И. С. Аксаков. Менее безоговорочно, но та же мысль проводится и в кратком отклике Тургенева на выход в свет первого тютчевского сборника (1854), и в статье Некрасова

"Русские второстепенные поэты", открывшей тютчевскую лирику для широкого читателя второй половины века; параллели между Пушкиным и Тютчевым отмечены и в знаменитой статье Фета, посвященной анализу тютчевской поэзии. Традиция эта, отчасти поколебленная работами Ю. Н. Тынянова, в целом устояла до нашего времени.

Пушкинская поэзия запечатлела объективно-исторический тип восприятия прошлого. "Пожалуй, редко можно встретить поэта, у которого прошлое бы столь активно взаимодействовало с настоящим и будущим, как у Пушкина", —указывал В. Кормачев в работе "Художественное время в лирике Пушкина и Тютчева". Б. Эйхенбаум писал, что "у Пушкина было органическое и совершенно реальное ощущение исторического процесса и его законов —была вера в историю...". Вот эта "вера в историю", нециклическое, разомкнутое мышление, и позволяла Пушкину воспринимать минувшее конкретно и объективно, сознавать его predeterminedность общим ходом исторической жизни, чувствовать безусловную его уместность в общей панораме мирового развития. Иным было восприятие прошлого у Тютчева. Для него оно, как правило, обособлено, локализовано в бывшем бытии, утратило действенные творческие связи с настоящим. Былое, по Тютчеву, не предмет для пластического изображения, скрупулезного анализа, объективно-исторических оценок; оно не подчиняется универсальному — пушкинскому —закону преемственности. Исследователи отмечают: тютчевская лирика заграничного периода как-то принципиально "внеисторична". Философская миниатюра, пейзаж, любовное

признание – вот основные грани ранней тютчевской лирики (другое дело, что тютчевский “внеисторизм” был обусловлен и выдвинут на авансцену русской литературы именно исторически). Многие стихотворения Тютчева конца 20-х – начала 30-х годов воплощают образ мира, как бы не нуждающегося ни в предыстории, ни в послесловии. Примером может служить миниатюра “Полдень”:

Лениво дышит полдень мгlistый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан В пещере нимф покойно дремлет.
[I, 25]

Этот мир не историчен, а мифологичен; потому и закономерно появление в финале отсылки к мифологическому сюжету. Процессуальность сведена к минимуму, и это подчеркнуто, в частности, трижды проведенной анафорой. Этот полдень, расположенный в зоне мифа, не имеет временного измерения: он, если так можно выразиться, обречен на вечность. И так, важно само стремление молодого Тютчева отрешиться от движения истории. В XIX столетии эту мнимую отрешенность от исторического времени ошибочно связывали с идеями “чистого искусства”. На деле же перед нами явление совершенно иной природы.

Ещё в тридцатые годы были поставлены вопросы, ответы на которые будут искаться в течение всей жизни:

Былое – было ли когда?

Что ныне – будет ли всегда?

Оно пройдёт –

Пройдёт оно, как всё прошло,

И канет в тёмное жерло

За годом год. [I, 70] (“Сижу задумчив и один...”)

Усомнившись в реальности существовании былого (“было ли”), Тютчев закономерно ставит под сомнение и реальность существования будущего (“будет ли”). Бесконечная ось времени как бы сжимается в одну точку “вечного настоящего”. При таком сжатии крайности сходятся, образуя замкнутый круг самодовлеющего внеисторического времени. Не в этом ли представлении о настоящем как о единственно возможной реальности предпосылки жанровой новизны тютчевской поэзии, новизны, о которой Тынянов писал: “Первые опыты Тютчева являются...попытками удержать монументальные формы “догматической поэмы” и “философского послания”. Но монументальные формы XVIII века разлагались давно, и уже державинская поэзия есть разложение их...Тютчев находит выход в художественной форме фрагмента...” Одна из причин зарождения фрагмента в лирике Тютчева – установка, философская и психологическая, на признание лишь настоящего в качестве единственной непреложной реальности. В самой своей структуре эта художественная форма закрепляла тютчевское понимание “связи времен”: даже минувшее событие предстает в ней как сиюминутное переживание. Но былое, не соотнесенное с настоящим объективно, а как бы вовлеченное,

втянутое в него, воплощено перед нами уже в ином качестве: оно деформировано субъективной волей личности и в силу этого утратило свои конкретно-исторические признаки; оно выведено за скобки конкретно-исторической эпохи. Что же способствовало возникновению подобной философии времени, какова её питательная среда?

3. 2. Мышление Тютчева было замкнутым, цикличным. Характерно в этом отношении указание поэта в письме к Вяземскому от 9 июля 1857 года: "Вот, князь, два стихотворения Мея, про которые я вам говорил на днях и которые показались мне достаточно замечательными, чтобы сообщить их Вам. То, которое озаглавлено "Вихорь", основывается на одном народном поверье...Есть ещё три или четыре пьесы в том же роде, как, например, "Домовой", образующие как бы законченный цикл русской народной демонологии". И "пьесы"иного и во многом чуждого автора воспринимаются как некое циклическое единство, пусть даже и не обозначенное формально.

"Несобранный", скрытый характер тютчевской циклизации был новостью в русской литературе. Об этом смутно догадывались. К. С. Аксаков в 1857 году в "Обзрении современной литературы"писал: "Тютчев —это поэт, имеющий свою особенность. В его стихах замечаем мы несколько главных мотивов, которым подчиняются все или почти все его стихотворения, по крайней мере все те, которые имеют положительное достоинство".

Мотивы, о которых говорит Аксаков, совсем не то же самое, что традиционно понимаемые темы. В той же статье, критически оценивая поэзию Фета и Майкова, он пишет: "Хотя г. Майков затрагивает иногда глубокую тему, но тема и после написанного на неё стихотворения остается у него всё только темой для стихотворения". По Аксакову, тема —нечто внешнее, мотив же — внутреннее, сокровенное, а потому и обладающее объединительным потенциалом. Конечно, понятие цикла вошло в обиход критики много позднее, уже в начале века XX, когда формально обозначенная циклизация переживала расцвет. Тютчевские же циклы предстали в своем изначальном, "естественном"состоянии: они не нормативны и не стабилизированы. В лирике Тютчева мы иногда встречаемся и с привычными, авторскими циклами, состоящими из двух-трёх стихотворений: "Наполеон", "Два голоса", "На возвратном пути". Но тютчевское мышление циклами захватывает куда более глубокие уровни.

Мышление циклами есть мышление пределами. Сама структурная организация цикла подразумевает наличие начала и конца, их поляризацию; между этими крайними точками движение постепенно, но при переходе от цикла к тому, что вне его, неизбежны разрыв и качественное преобразование. Оно и произошло в конце 40-х —начале 50-х годов, на границе двух крупнейших циклов в тютчевской поэзии —"ночного"и "денисьевского". "Тютчевскому миру в целом чужда идея прогресса, основанная на линейной системе времени, он цикличен.

Человеческая жизнь также тяготеет к цикличности, ибо человек не осуществляет себя в мире, не закрепляет в нём своё прошлое, не создает тем самым фундамента для дальнейшего развития", — размышлял в уже упомянутой работе В. Кормачев. Конечный вывод

всё же излишне категоричен: по Тютчеву, человек признает идею прогресса, но для него она непременно сопряжена с катастрофическими изменениями как в состоянии всего мира, так и в развитии отдельной личности. Достаточно вспомнить такие стихотворения, как "Последний катаклизм" или "Безумие". В 1855 году поэт писал жене: "Мне пригрезилось, что настоящая минута давно миновала, что протекло полвека и более, что начинающаяся теперь великая борьба, пройдя сквозь превратностей, захватив и раздробив в своем изменчивом движении государства и поколения, наконец закончена, что новый мир возник из неё, что будущность народов определилась на многие столетия, что всякая неуверенность исчезла, что суд Божий совершился..." Иными словами, коренное преобразование бытия ("новый мир возник") обязательно связано с революционным его преобразованием ("суд Божий совершился"). Цикл предполагает единство прерывного и непрерывного.

Применительно к историческому процессу это означает диалектику революции и эволюции; в проекции на духовную жизнь личности — диалектику самосознания (я есть человек) и самопознания (что есть Я).

Проблема самопознания личности — одна из фундаментальных в русской литературе XIX столетия. Тому есть бесчисленное количество свидетельств. Приведу одно, из "Исповеди" Л. Н. Толстого: "Вопрос мой — тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрого старца, тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: "Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, что выйдет из всей моей жизни?" Иначе выраженный, вопрос будет такой: "Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?" Ещё иначе выразить вопрос можно так: "Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?" Перед нами — развернутая программа самопознания, представленного как всеобщая и неизбежная закономерность человеческого пребывания в мире. У самого Тютчева находим поразительное высказывание на этот счёт. В письме Вяземскому (1848) он пишет: "...Никакой действительный прогресс не может быть достигнут без борьбы. Вот почему враждебность, проявляемая к нам Европой, есть, может быть, величайшая услуга, которую она в состоянии нам оказать... Нужна была эта, с каждым днём все более явная враждебность, чтобы заставить нас осознать себя. А для общества, так же как и для отдельной личности, — первое условие всякого прогресса есть самопознание. Есть, я знаю, между нами люди, которые говорят, что в нас нет ничего, что стоило бы познавать. Но в таком случае единственное, что следовало бы предпринять, — это перестать существовать..." Что такое человеческая личность, каковы её возможности и функции — над этими вопросами бьется русская мысль второй половины XIX века. Равновесие между внешним и внутренним, между миром и личностью было вначале поколеблено, а затем и решительно нарушено в пользу последней. Показательно, что именно в середине века учащаются жалобы поэтов на неспособность слова адекватно выразить всё

богатство внутренней жизни:

Мысль изреченная есть ложь. [I, 46]

(Тютчев)

О, если б без слова

Сказаться душой было можно!

(Фет)

И не выразить изустно,

Чем так смутно полон я.

(Вяземский)

Неимоверно возрастает энергия человеческого Я. Еще на рубеже 20-30-х годов Тютчев воскликнет: "Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум..." В тютчевской лирике проблемы гипертрофированной личности, анализ процесса самопознания — его причин, роли и последствий для человеческой жизни — занимает центральное место. Дело не в философских декларациях, а в самом пафосе тютчевской поэзии.

Человеческое Я, вышедшее на прямой, непосредственный контакт с миром, осознавшее собственную значимость и значительность, распространяет и на всё сущее принципы собственного бытия. Если циклично и конечно Я, то закон цикла действителен и для природы, и для истории. Соответственно, правомерен и обратный тезис: если цикличны и конечны природа и история, то циклично и конечно Я. Недаром к числу самых употребительных и семантически ёмких эпитетов Тютчева относится эпитет "последний", влияние которого распространяется на самые разные сферы: "Когда пробьет последний час природы..." [I, 22], "Сказать последнее прости..." [I, 89],

"Предвестники для нас последнего часа И усладители последней нашей муки..." [I, 44] и т. д. Последний — то есть ставящий предел, замыкающий собою некий "законченный цикл" существования. Но личность, уверенная в своей неисчерпаемости, не может примириться с неизбежностью бесследного исчезновения: если недоступна вечность, то следует сделать бесконечным миг. Отсюда — взаимозависимость жанровых форм цикла и фрагмента как конечного и бесконечного: ограниченному, замкнутому времени цикла противостоит "остановленное мгновение" фрагмента. Для Тютчева признание настоящего в качестве единственно возможной, абсолютной реальности есть путь преодоления "своего", частного, локального времени, попытка обрести свободу от времени внутри цикла, а не за его пределами. Еще раз подчеркнем: разумеется, с формальной точки зрения тютчевский цикл складывается как ряд составляющих его фрагментов. Но речь о том, что сам фрагмент как специфическая жанровая форма порождается восприятием мировых процессов в качестве процессов циклических. Циклообразование, таким образом, инициирует "фрагментаризацию" самой структуры тютчевской лирики.

3. 2. Былое-мнимость и былое-призрак — вот две основные ипостаси прошлого, с которыми мы сталкиваемся в тютчевской лирике. Они близки, но не тождественны. Понятие мнимого былого последовательно формируется в тех стихах, которые принято называть натурфилософскими. Природа не знает линейного времени.

Весна...она о вас не знает,

О вас, о горе и о зле;

Бессмертьем взор её сияет,
И ни морщины на челе.
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам,
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подobaет божествам. [I, 96]

И далее:

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет, -
И страх кончины неизбежной
Не светит с древа ни листа: Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита. [I, 97]

Цельной, монолитной, "божески-всемирной" жизни природы чуждо сознание прошлого. Её всемирность — единственное, что способно оградить от "кончины неизбежной", дать ощущение бессмертия, но причащение ему достигается только ценой полного и подлинного самозабвения, отвержения обманных индивидуальных чувств. К тому, что природа не знает линейного времени, Тютчев возвращается не однажды. Вот одно из итоговых раздумий: "Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы..." [I, 225] В этом плане весьма интересно и стихотворение "Через ливонские я проезжал поля..."

(1830):

Через ливонские я проезжал поля,
Вокруг меня всё было так уныло...

Бесцветный грунт небес, песчаная земля —
Всё на душу раздумья наводило. [I, 37]

Перед нами одна из тютчевских "дорожных" миниатюр, экспозицией которой является процитированная строфа. Уже здесь, в самом истоке, обращает на себя внимание характер изображения художественного пространства; движущемуся путнику противостоит косный, неподвижный мир; "бесцветный грунт небес" и "песчаная земля" образуют однородную, лишенную внутренней дифференцированности среду вселенной. На ее фоне особенно отчетливы резкие эпитеты второго четверостишия:

Я вспомнил о былом печальной сей земли —
Кровавую и мрачную ту пору,
Когда сыны ее, простертые в пыли,
Лобзали рыцарскую шпору. [I, 37]

Итак, воспоминание, но связанное с прошлым историческим, закрепленным в опыте человеческой деятельности, а отнюдь не природным. Контрастная соотнесенность природного и исторического тонко подчеркивается путем семантического расслоения слова, стоящего на рифме, в активной, акцентированной позиции: в первом случае земля — почва, во втором — страна, государство. Если в начальном четверостишии преобладает информационно-образительный ряд, то в следующих четырех строках доминирует уже эмоциональная оценка (прошлое

“печальной” земли — результат содеянного человеком, а потому такой оценке подлежит).

И глядя на тебя, пустынная река,
И на тебя, прибрежная дуброва,
“Вы, —мыслил я, —пришли издалека,
Вы, сверстники сего былого!”
Так! Вам одним лишь удалось
Дойти до нас с берегов другого света.
О, если б про него хоть на один вопрос
Мог допроситься я ответа! . . . [I, 37]

Предпринята впечатляющая по своим масштабам попытка совместить оба плана: “горизонтального” (созерцания) и “вертикального” (воспоминания), представить жизнь природы как жизнь историческую, протяженную во времени. О чрезвычайной трудности этой задачи свидетельствует, в частности, и затрудненный, как будто “косноязычный” синтаксис. Но предпринятая попытка безуспешна, задача принципиально невыполнима, диалог обречен на провал: для него нет основы, нет общего предмета и языка. Ведь “пустынная река” и “прибрежная дуброва” — сверстники не только былого, но и вопрошающего о нём человека. Природа — вечный сверстник, в её сознании нет понятия прошлого, в её лексиконе отсутствует слово “былое”, она просто не поймет вопроса, ибо её жизнь “вся в настоящем разлита”. Отсюда и чисто тютчевское решение миниатюры:

Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной, —
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,
Про них и днём молчание хранит. [I, 37]

Мир природы безмолвствует об историческом прошлом земли, он может быть его свидетелем, но не в состоянии стать его участником или даже комментатором, не в силах реализовать себя в общем движении исторической жизни. “Через ливонские я проезжал поля...” — пример специфически тютчевской утопии. Вопрос о тютчевском утопизме — не только в историософском, но и в собственно философском плане — ещё ждет своего истолкования.

Былое как часть временной оси для природы — не более чем условность: “Чудный день! Пройдут века — Так же будут, в вечном строе, Течь и искриться река И поля дышать на зное.” [I, 215] Человек, каким он предстает в тютчевской лирике, хотел бы почувствовать себя частицей гармонического целого, слиться, “смешаться” с ним и тем самым преодолеть конечность собственного существования, но не может этого достичь, не может отказаться от укорененности в историческом процессе. Между желанием и невозможностью причаститься “вечному настоящему” природной жизни, в несбыточном этом стремлении — один из истоков напряженной конфликтности тютчевской лирики. Здесь же находятся предпосылки появления в творчестве Тютчева важнейшего понятия “призрачного былого”.

Оно как будто ориентировано на модель “мнимого былого”, но осложнено социальными рефлексиями и психологическими установками

занятой самопознанием личности.

В чем корень различия? "Мнимое былое" нейтрально, "блаженно-равнодушно" (сравни с пушкинским: "...И равнодушная природа Красою вечною сиять") к проблемам этики. Иное дело – былое-призрак. Уже в начале пути сказано: "Минувшее, как призрак друга, Прижать к груди своей хотим". [I,9] Затем этот мотив будет неоднократно варьироваться: "И наша жизнь стоит пред нами, Как призрак на краю земли..."[I, 18], "...призраки минувших лучших дней"[I, 66], "Как отблеск славного былого..."[I,177] и т. д. и т. п. Этическая оценка как разграничительный момент в тютчевском понимании прошлого исключительно важна. Иногда поэт словно бы вступает в противоречие с самим собой и говорит об эфемерности не прошлого, а настоящего. Такого рода "лирические отступления" от темы, по-видимому, совершенно естественны и так же не могут поколебать тезиса об абсолютизации в тютчевской поэзии настоящего, как временные модуляции не в состоянии поколебать господства основной тональности. Однако во всех подобных случаях нужно быть предельно внимательным. Так, в миниатюре "Как неожиданно и ярко..." поэт говорит отнюдь не о хрупкости настоящего, как может показаться по первому впечатлению.

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла –
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла. [I, 204]

Приведена первая часть пьесы. Представленная в ней картина целостна и завершена в высшей степени. Это, в частности, подчеркивается и единством видо-временных глагольных форм, на которых держится всё восьмистишие: воздвиглась, вонзила, ушла, обхватила, изнемогла. Между началом процесса (воздвиглась) и его концом (изнемогла), с точки зрения житейского наблюдения, прошло некоторое время. Между тем этого не чувствуешь: время эмпирическое сконцентрировано в одной точке; не процесс перед нами, а фрагмент. "Минутное торжество" и есть "свернутое" время фрагмента, "вечное настоящее" по-фаустовски остановленного мгновения. Что же происходит с этим цельным образом нерасчлененного времени во второй части?

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его, лови скорей!
Смотри – оно уж побледнело,
Еще минута, две – и что ж?
Ушло, как то уйдёт всецело,
Чем ты и дышишь, и живёшь. [I, 204]

Время "распадается" буквально на глазах, даже и речи не может быть о какой бы то ни было цельности и упорядоченности. Несогласованность и пестрота глагольных форм (представлены все

три времени, два наклонения, два вида) незамедлительно отражается и на синтаксической структуре. Она становится разорванной, пунктирной, появляются эллиптические конструкции, односоставные и неполные предложения. Кажется, миф о "вечном настоящем"фрагмента развеян бесповоротно.

Однако дело в том, что раздробленность образа времени, воплощенная во втором восьмистишии, отнюдь не результат распада цельности, воплощенной в первом. Не развитие одного, а противопоставление двух типов времени образует мир тютчевской пьесы. Ведь во второй части дано не непосредственное созерцание радуги (её уже нет: на это указывает глагол совершенного вида "изнемогла"—по-тютчевски "длинное"слово, своего рода демаркационная линия между частями), а воспроизведение её. Действие уже совершилось, ушло в прошлое, законы "вечного настоящего"утратили на него свои права.

Зато начинают действовать иные закономерности —воспоминания, обратного мира, зазеркалья. И вот пластически точная картина оказывается "радужным виденьем", момент разворачивается в процесс, непосредственное созерцание уступает место анализу ("Ушло, как то уйдет всецело, Чем ты и дышишь, и живешь"). "Настоящее"первой части осталось неприкосновенным; разорванным и хаотичным, как почти всегда у Тютчева, предстало именно прошлое —иллюзорное, призрачное, отделенное от настоящего непреходимой границей.

"Когда я покинул родину, я был приблизительно твоих лет (если правда, что тебе столько лет, сколько ты себе приписываешь), — писал Тютчев дочери осенью 1846 года. —Целая будущность была передо мною...а теперь она стала прошедшим, то есть чем-то, что равнялось бы небытию, если бы в небытии могло заключаться столько усталости и печали..."

Именно так: по Тютчеву, ушедшее в былое приравнивается к небытию, потому так мучительна заведомо обреченная на неуспех попытка возвращения. В связи с мотивом возвращения крайне интересен один из "собранных"тютчевских "циклов" — "На возвратном пути". Он состоит из двух стихотворений, объединенных темой и ситуацией: оба написаны по дороге из Кенигсберга в Петербург в октябре 1859 года. Особенно любопытна первая часть:

Грустный вид и грустный час —
Дальний путь торопит нас...
Вот, как призрак гробовой,
Месяц встал —и из тумана
Осветил безлюдный край...Путь далек —не унывай. Ах, и в этот
самый час, Там, где нет теперь уж нас,
Тот же месяц, но живой,
Дышит в зеркале Лемана. Чудный вид и чудный край —
Путь далек —не вспоминай...[I, 178]

Казалось бы, созерцаемое в настоящем воспринимается как безлюдное, туманное, призрачное, тогда как оставшееся в прошлом,

покинутое, исполнено живой жизни. Но и в этом случае всё не так просто. Приведенные строфы и семантически, и структурно отражаются друг в друге (не случайно же упоминание о зеркале Лемана). Вторая строфа почти во всех своих элементах есть наизнанку вывернутая первая. Это закреплено не только в семантике, но и фонетически, системой рифм:

гробовой –живой, тумана –Лемана, безлюдный –чудный. Но есть и принципиальное отличие: вторая строфа –не воспоминание о минувшем, а знание о настоящем (“Ах, и в этот самый час...”). Потому покинутый край и “чудный”, что он –в сфере влияния настоящего. Отсюда и венчающее строфу пожелание (просьба, мольба) “не вспоминай”. “Не вспоминай”–ибо воспоминание обратит живую конкретную действительность в нечто призрачное. Но обманчива не только вторая строфа, но и первая. Ведь “грустный час”–это час возвращения в прошлое. Заглавия не столь часты в тютчевской лирике, но едва ли не каждое из них бросает необходимый дополнительный ответ на содержание той или иной пьесы. Например, в латинских заглавиях типа “Probleme”, “, !”уже ощутим металлически холодноватый блеск европейского интеллектуализма; заглавия типа “декабря 1837”, “января 1837”, “Лето 1854” и т. п. акцентируют внимание на каком-то этапном событии в биографии человека и жизнеописании мира. “На возвратном пути”–одно из наиболее тонких и многозначных тютчевских заглавий. В нём сведены воедино категории пространства и времени. Но в первой строфе пространство как бы ассимилировано временем; во второй, напротив, время поглощено пространством. Недаром в текст вторгается точное географическое обозначение Леман –исходный пункт движения автора. Миниатюра построена так, что мнимое настоящее на поверку оказывается призрачным прошлым, а мнимое прошлое –реальным настоящим. Более традиционно тема возвращения воплощена во втором стихотворении цикла:

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья –
Жизнь отошла –и, покорясь судьбе,
В каком-то забытии изнеможенья
Здесь человек лишь снится сам себе.
Как свет дневной, его тускнеют взоры,
Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
В лазурные глядятся озера... [I, 179]

Личность, волею судеб очутившаяся в собственном прошлом, как бы самоликвидируется, рушится. Она лишена своей единственной опоры –настоящего –и повисает в пустоте, в этическом и психологическом вакууме. Отсюда и столь острое, болезненно напряженное восприятие вчерашнего дня как прекрасного, но призрачного виденья, в своем роде потерянного рая. Тютчевский человек, подобно Орфею, оглядывающийся в надежде встретиться глазами с прошлым, видит бездну, населенную призраками и тенями. Не вспоминай –принципиальная позиция, завет, обращенный к себе и ко всем, выражение особой философии, настаивающей на текущем мгновении как на единственной реальности человеческого бытия.

3. 3. Эволюция цикла была predeterminedена самими динамическими принципами тютчевской циклизации, отличными от жанрового и тематического (статических) принципов объединения произведений в предшествовавшую поэтическую эпоху. Так, в начальных фрагментах "ночного" цикла ("Видение", "Как океан объемлет шар земной...") приход ночи приветствуется, причащение "славе звездной" воспринимается как благо; в поздних же "ночных" стихах ("День и ночь", "Святая ночь на небосклон взошла...") ночь объявляется враждебной, надличностной стихией, грозящей без остатка растворить в себе индивидуальность. Поляризация начала и конца "денисьевского" цикла обусловлена судьбой поэта и едва ли нуждается в специальных доказательствах. Применительно к теме нашего разговора об отношении Тютчева к проблеме связи времен противопоставленность истока и устья также несомненна: от сентиментально-романтического "Минувшее, как призрак друга, Прижать к груди своей хотим..." до беспощадного "Минувшее не веет легкой тенью, А под землей, как труп, лежит оно...".

Пересмотр отношения к былому совпадает по времени с окончательным возвращением поэта на родину и зарождением последней любви. Уже в первых "денисьевских" стихах чувствуется некоторый надлом; начинается размывание краеугольного положения о непреложности и абсолютности настоящего:

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел —спроси и сведай,
Что уцелело от нея? [I, 131]

"Год не прошел"—точное определение временного периода, периода, а не точки. Время обретает линейность, протяженность, для него наконец найдена мера, и мера эта —судьба.

Тень линейного времени ложится и на другую тютчевскую пьесу той же поры: "Не говори: меня он, как и прежде, любит, Мной, как и прежде, дорожит...". Здесь уже обозначена дистанция между прошлым и настоящим; "свернутое" время фрагмента снова как бы разворачивается в объективированное время процесса.

И всё-таки до 1864 года, до перелома в развитии "денисьевского" сюжета, такого рода явления оставались эпизодическими. Лишь после смерти Денисьевой они становятся системными, и на их основе формируется позднее тютчевское понимание проблемы связи времен. Только такая утрата, разделившая жизнь на "до" и "после", оказывается в состоянии перевернуть сложившиеся представления. Внутри "денисьевского" цикла появляется особая группа "годовщин": "Весь день она лежала в забвении...", "Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...", "Накануне годовщины 4 августа 1864 г. ". Не годовщины-воспоминания (пушкинский вариант), а годовщины-видения, когда невозможно отслоить прошлое от настоящего и будущего, когда все эти понятия действительно и условны одновременно и в равной степени:

Всё темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...Вот тот мир, где жили мы с тобой,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали, Завтра память рокового дня...Ангел мой, где б души ни витали,

Ангел мой, ты видишь ли меня? [I, 203]

Не "точечное" время фрагмента, не линейное время объективно-исторического процесса, а —слияние времен, трехмерное, объемное время духовного бытия личности —вот к чему в конечном счете приходит Тютчев.

"Путь далек —не вспоминай..." — призывал поэт совсем незадолго до смерти Денисьевой. Спустя восемь лет он скажет, что для души нет более страшного, чем следить, как "вымирают в ней все лучшие воспоминанья". О том же —в письмах. Вот выдержка из письма Я. П. Полонскому от 20 декабря 1864 года: "Не было, может быть, человеческой организации, лучше устроенной, чем моя, для полнейшего восприятия известного рода ощущений. —Ещё при её жизни, когда мне случалось при ней, на глазах у неё, живо вспомнить о чём-нибудь из нашего прошедшего, —я помню, какую страшную тоскою отравлялась тогда вся душа моя —и я тогда же, помнится, говорил ей: "Боже мой, ведь может же случиться, что все эти воспоминания —всё это, что и теперь уже так страшно, придется одному из нас повторять одинокому, переживши другого", но эта мысль пронизывала душу и тотчас же исчезала. А теперь?" В июне 1868 года Тютчев создаст стихотворение "Опять стою я над Невой...", которым замкнет круг "денисьевской" трагедии. Прошлое и настоящее поменяются местами. "Былые годы" станут точкой отсчета, ориентиром, по которому будет проверяться настоящее. Напротив, созерцаемое в настоящем предстанет как призрачное видение:

Нет искр в небесной синеве,
Всё стихло в бледном обаянье,
Лишь по задумчивой Неве
Струится лунное сиянье.
Во сне ль всё это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели? [I, 212]

Отточенность формулировок молодости входит в конфликт с непреднамеренностью душевного движения; Тютчев —скорбящий и любящий человек —не может признать правоту Тютчева-мыслителя; философ поднимается до бунта против собственных философских догм. Культ настоящего оказывается неприемлем. Бессмертие, добываемое внутри цикла такой ценой, — эфемерно. Личность, как бы ни было богато и разносторонне её внутреннее содержание, не может выпасть из истории. В позднейших денисьевских стихах происходит деканонизация настоящего, и противоречия, достигающие при этом предельного размаха, расщепляют ядро "человеческого Я", высвобождают неисчерпаемые запасы духовной энергии личности. То, на чём настаивалось в юности, —автономность и самодостаточность внутреннего мира —не выдержало испытания жизнью.

Идея замкнутости человека на самом себе оказалась порочной по сути и утопической, и осознается это в тот именно час, когда

обнаружена неизбежная зависимость от другого Я и непоправимость потери другой личности.

Спустя три года по окончании "денисьевского" цикла, в 1871, Тютчев вернется к мысли об иллюзорности прошлого:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы... [I, 225]

Но возвращение это будет обогащено и осложнено трагическим духовным опытом последних лет: время природы и время человека отчуждены друг от друга, эпитет "призрачные"—отнесен уже не только к прошлому, но ко всему времени человеческой жизни. Попытка построить собственную жизнь, ориентируясь на модель природного, космического бытия, потерпела крах. Но то бесстрашие, та безоглядная внутренняя отвага, с которой личность признала несостоятельность притязаний на свободу от исторически конкретного времени, та беспощадность, с которой она разоблачила собственные философские иллюзии, не есть ли в конечном счете важнейшая её победа, утверждение силы и величия человеческого духа?